

## Носов Е.И. Лоскутное одеяло

Из дальних далей

Было у моей бабушки Варвары Ионовны одеяло, собранное из разных лоскутов материи.

Бабушка иногда шивала нехитрые крестьянские обновы: штаны и рубахи, кофты и сарафаны, да и нам, ребятам, всякую всячину. От этого и оставались обрезки, из которых бабушка кроила одинаковые косяки, сшивала их попарно в квадраты, а уж из квадратов получалось веселое разноцветное полотно, служившее верхом ватному простеганному одеялу.

Я лежу под его уютной толщей и жду к себе бабушку. А она на ногах чуть ли не с первыми петухами, все еще хлопчет по дому: что-то споласкивает, ставит в печь коровье пойло, накрывает рушником хлеб на столе, разбирает на пары и рассовывает по печуркам вязанки и шубные рукавицы. И уж после всего гасит лампу, запалив каганец, слаженный ею из пузырька, сырой картофельной кружалки и ватного фитиля. Застя ладонью робкий язычок огня, похожий на тыквенное семечко, она ставит каганец на высокий припечек, чтобы сразу освещал и кухню, где под лавкой с ведрами сеймской воды тихо шуршит лукошечным сеном посаженная на яйца гусыня, и соседнюю проходную комнатку с бабушкиной деревянной кроватью, над которой в углу в широкой витеино-золоченой раме висел строгий лицом Никола. Наконец бабушка заходит в нашу комнату и, встав перед Николаем, ловким перекрестом рук снимает кофту, затем сбрасывает на пол долгую, до пят, юбку и босоного вышагивает за ее круг. Вся в белом, с нагими плечами и руками, она принимается быстро и непонятно шептать что-то святому угоднику, мерцавшему от шевелящегося на печи светильного огня, одновременно не забывая расплестать косицу, полуседой остаток некогда спелой пшеничной красы, перебросив ее себе на впалую грудь и сноровко, на ощупь, перебирая пальцами пряжи и шелковые тесемки. И, трижды склоненно осенив себя широким крестом, а заодно потыкав издали в мою сторону щепотью, она торопко забирается под одеяло и, нахолодавшая перед иконой, истово льнет ко мне, теплomu, обжившемуся под ватным пологом.

Смирив дыхание и обвыкнув, бабушка поднимает коленями одеяло, делает из него покатый погребок, над которым хорошо видны косяки, и тихим и умиротворенным голосом человека, завершившего день и добравшегося до постели, вопрошает:

— Так докудова мы дочитали книгу-то нашу?

— Про синий косячок.

.— Уж и до него дошли? А вот про этот сказывала ли? Про голубые колокольца? Про мамкино первое платьице? Девочка-то она была большая, а все не в своем, все в перешитом да переиначенном. Тут под самую Троицу вот тебе китайцы-коробейники с товарами. А на деревне это вон какая оказия. Бабы все бросают, выбегают на улицу. Ну, а китайцы знают, что делать. Прямо по траве раскатывают одну штуку ситца — майский луг, да и только! Распускают другую — и того краше. Мамка твоя вцепилась в руку, тербит, этак больно дергает: купи да купи... Или про то не сказывала?

— Про колокольцы уже было, — вспоминаю я.

— А-а, ну тогда пойдём дальше. Этот вот косяк-то, который с колокольцами в паре, видишь, по синему белой крупкой посыпано, вроде как звезды по ночному небу, это от дедушкиной рубахи. А привез он её аж с войны германской. Они тогда под Ригой стояли. Да немец попер их оттуда, из Курляндской земли, голодных да беспатронных. Да так-то и отходили пешки. Дедушка твой ногу в кровь истер, от мокрых да грязных портянок приключилась хвороба, ногу ему раздуло под самый пах. Уложили в двуколку с другими ранеными, довели до какой-то станции, а оттуда — в самый Питер. А тут вскорости царя спихнули, революция началась. Деда как есть прямо на костылях в какой-то комитет и выбрали. Ну, раз выбрали, он и давай прыгать да скакать. Ну и допрыгался, чуть ногу не отняли. Списали его по чистой да и отпустили, слава богу, с миром.

Мне не нравится, что дедушку выпроводили из Питера и что он, оказывается, не участвовал в штурме Зимнего дворца.

— Кой тебе Зимний! — взмаливается бабушка. — Я и доси с курицей по соседям хожу: мужик дома, а зарубить некому. Нет, не герой он у меня, не герой, врать не стану.— И уже спокойным, добрым голосом продолжает: — А так много повидал разного. Не приведи господь, чего довелось ему, сердешному. Домой пришел — белые чуть шашками не изрубили, в амбаре господский хомут нашли... Ну да ладно на ночь про такое, царица небесная. От тех времен, окромя этого лоскута, костыль остался, где-то на чердаке. А еще солдатский башлык.

— Это штык такой?— ликующе млею я.

- Не-е! Это такой суконный куль с окрылками. Поверх шапки в метель надевают. Вот придет дедушка с ночного, из конюшни-то, ты и попроси хорошенько. Авось покажет тебе башлык. А то и даст поносить.

Я молча мечтательно киваю.

— Нуте... Так поехали дальше. А вот этот, внучек ты мой, этот лоскутик...— Бабушка вздыхает и, выпростав тонкую, как плеть, голубоватую руку с темной, словно из корья, кистью, долго оглаживает светленький, ничем не примечательный треугольник.

— И что?— тереблю я бабушку, вдруг замолчавшую.— А бабушка?

Бабушка не отвечает. Я скашиваюсь недоуменно, представив, что её сморил внезапный сон. Но она не спит, и я вижу, как в темной глазнице тусклым оловом мерцает скопившаяся там влага.

Я примолкаю, а она, глубоко вздохнув, опускает колени и разрушает одеяльный погребок.

— Была у меня девочка,— еще раз крестясь, вздыхает она и, повернувшись и потянув на меня лоскутное одеяло, произносит теплым, родным шепотом:— Спи, угоманивай-ся. Завтра еще чего вспомним...